

ГАЛИНА УЛАНОВА



споминая минувшие годы, я часто думаю о том, как везло мне в жизни на встречи с людьми удивительными и незабываемыми. Когда я была молода, то не понимала еще всю бесценность таких встреч.

Но потом пришла зрелость, а вместе с ней анализ прожитого, пережитого. И понимание того, что многое в моем характере, мироощущении подсказано не только обстоятельствами собственной судьбы, но умом и талантом людей, общение с которыми оставило неизгладимый след в жизни.

Так помню я каждую свою встречу с Алексеем Николаевичем Толстым. И то пристальное его внимание, ко-

торое, под стать рентгеновским лучам, просвечивало, казалось, всю суть человека. И заботу его помню. Тактичную и ненавязчивую, но всегда необходимую, подоспевшую в самое нужное время...

Мне писать о Толстом нелегко, ибо многогранность и широта Алексея Николаевича «просто в жизни» были ничуть не меньше его писательского дара. Видимо, эта общность «человеческого» и «писательского» рождала ту правду и проникновенность его книг, в которых каждый постигает что-то главное, важное для себя в жизни. Но разбор творчества Толстого — дело литературоведов и критиков. А я постараюсь написать, каким знала и помню Алексея Николаевича.

Наша первая встреча случилась в середине тридцатых годов, весной, в Детском Селе. Там, неподалеку от Екатерининского парка, находился дом Толстого, куда в один из воскресных дней мы были приглашены. Я говорю «мы», потому что одна вряд ли решилась бы поехать. Отправилась я с друзьями Толстого и моими тоже: Елизаветой Ивановной Тиме, актрисой Ленинградского драматического театра, и ее мужем — профессором Николаем Николаевичем Качаловым. Они не раз рассказывали мне, что Толстой очень прост в общении, радушен и бесконечно гостеприимен. Я поняла это, переступив порог его дома.

Алексей Николаевич вышел к нам навстречу в легкой домашней тужурке. Помню впечатление первых минут: шумная, искрометная энергия, громкий голос, веселый, с каким-то даже «похрюкиванием» смех. Толстой повел нас к гостям. Гомон голосов, длинный стол, заставленный всякой снедью... Я поначалу растерялась: незнакомый дом, уйма незнакомых людей. Но удивительно быстро пришло ко мне ощущение покоя и уюта.

Не в этом ли заключался секрет толстовского обаяния? Все были равны в его доме, и он был равный со всеми. Не главенствовал, не навязывал своих точек зрения. Напротив, всячески старался оттенить в человеке самые интересные, своеобразные качества. Как достигал он этого? Удивительно умел слушать собеседника. Открыто и доверчиво. Я по натуре человек замкнутый, но говорила с Толстым, как будто сто лет его знала. Говорила, сумбурно быть может, о музыке, о балете. Потом слушала

Алексея Николаевича и поражалась, как многое, недосказанное мною, сумел он угадать и досказать.

В тот день младший сын Толстого Митя играл нам на рояле. Толстой слушал очень внимательно, уважая маленького исполнителя. Наверное, эта всегдашняя толстовская сосредоточенность во всем, что касалось искусства, порождала и во мне потом волнение, когда знала: Толстой в зале, смотрит, оценивает...

Мы пробыли у Толстых почти целый день. Мне довелось увидеть рабочий кабинет писателя. Высокую конторку, за которой он всегда писал. Книжные шкафы до самого потолка. Все в этой комнате производило впечатление непрерывно действующего, нужного хозяину, лишнего какого бы то ни было академизма...

Шел февраль 1935 года, когда я приехала в Москву, чтобы впервые выступать на сцене Большого театра. Мне предстояло танцевать в «Лебедином озере». Безумное волнение, безумный страх перед спектаклем, никого из близких рядом...

В тот день в номере гостиницы, где я жила, раздался телефонный звонок. Голос Толстого — громкий, веселый. Я даже сразу не сообразила, что он в Москве. Почему оказался в Москве?

— Галя, — говорил он, — ты не бойся. Я здесь! Буду на спектакле. Не волнуйся, пожалуйста, все сойдет хорошо.

Во время спектакля ко мне в уборную принесли записку от Толстого. Он писал, что все идет хорошо, что после спектакля будет ждать у подъезда с машиной меня и Сергеева. Надо ли объяснять, как я была благодарна Толстому.

После спектакля Алексей Николаевич повез нас в дом Горького. Самого Алексея Максимовича дома не было. Ужин подходил к концу, но на столе появилась яичница с ветчиной, приготовленная специально для нас. Помню, я сказала, что мне очень нужно позвонить маме в Ленинград, она волнуется, как прошел спектакль. И тогда Алексей Николаевич повел меня в кабинет к Горькому и соединил с домом...

Сейчас, спустя годы, память о дебюте в Большом театре неразрывна для меня с памятью о душевной щедрости Толстого. В то время, видимо, ему важны были не на-

ши имена, а сам факт выдвижения творческой молодежи, приход в искусство новых людей, которые несли и новые возможности. Алексей Николаевич чувствовал и улавливал их, хоть часто говорил, что искусство балета для него непостижимо и объяснить его невозможно. Однако я не помню, чтобы он ошибался в оценках, говоря об исполнении плохом или хорошем. Иногда он делал попытки показать чью-то удачу или оплошность на сцене. Конечно, это был шарж, но очень точный. Мы соглашались с ним, хоть и покатывались с хохоту.

Летом 1940 года в Москве состоялась первая декада ленинградских театров. Я много танцевала, а потом уехала отдыхать в подмосковный санаторий «Барвиха». Там отдыхали тогда Эйзенштейн, Качалов, Сарьян, Гилельс... Мы часто ходили в гости к Толстому, который жил рядом на даче. По утрам Алексей Николаевич обычно писал. Работал он ежедневно и методично. Тем радостнее были для него часы отдыха, когда он выходил к нам в сад.

Я хорошо помню один из таких дней. Эйзенштейн играл с женой Толстого Людмилой Ильиничной в теннис. Я, как умела, подыгрывала, а потом ушла бродить по саду. Тут и появился, окончив работу, Алексей Николаевич. С таинственным лицом, делая смешные гримасы и «магические знаки», он пригласил меня следовать за ним. Мы пробрались в малинник и там, потихоньку от Людмилы, начали «воровать» большие и сладкие ягоды. Я видела, как уходили с лица Алексея Николаевича напряжение и усталость. Он умел переключаться, как никто другой. Всегда умел жить весело, широко и свободно, хоть, быть может, в тиши рабочего кабинета был совсем другим...

Прошло лето. Мы разъехались по своим домам. Но наши встречи с Алексеем Николаевичем случались еще не раз. Помню, как в холодные зимние вечера Толстой растапливал в столовой камин, жарил вкуснейшее мясо и хлеб. Он угощал нас, расхаживая по комнате своей легкой, стремительной походкой. И можно было бесконечно слушать, когда он рассказывал. Иногда блестяще импровизировал, а порою говорил о том, что пережито им, передумано...

Потом еще был Селигер — место наших летних пезабываемых сборищ. Толстой принимал природу как живое

существо. Умел видеть и слышать ее по-особенному. Его восхищение небом, водой, каким-нибудь живописным деревом, цветком, причудливым облаком не знало границ. Он чувствовал себя владельцем всей земли и всех ее щедрот. Мы ходили на прогулки целой флотилией: лодки, байдарки, парусники, моторки. Толстой никогда не уставал. Если кто-то из нас «выдыхался», то шутка и веселая усмешка его вливали новые силы.

Война. В те трудные годы студии, театры, композиторы, писатели, эвакуированные по приказу Родины в Алма-Ату, продолжали работать. В Алма-Ате я снова встретила Толстого. Жизнелюбие и оптимизм не изменили ему. Мы все верили в завтра, в победу, но, право, не каждый из нас умел, как Толстой, помочь другому пересилить душевную боль, прийти на помощь в самую нужную минуту.

Он был желанным гостем в каждом доме. Помню, как однажды заявился с женой к нам в гостиницу — голодный, без копейки денег. И сказал: «Чем хотите — кормите, мы голодные». Еды было совсем мало, но как весело, с каким аппетитом жарили мы что-то на керосинке...

В другой раз Алексей Николаевич должен был читать артистам драматического театра одну из своих ранних комедий «Нечистая сила». Он явился в театр с распухшим носом: его укусила какая-то ядовитая муха. Надо было видеть, как издевался он над своим обезображенным лицом, как смеялся над болью, стараясь обрисовать происшествие в самом юмористическом виде, хотя оно было далеко не смешным... Таково было свойство его натуры. Оно помогло ему потом, позже, когда Толстой был уже тяжело болен и стоически переносил невероятные страдания...

Вскоре после возвращения театра имени Кирова в Ленинград туда приехал и Толстой. Он приехал в составе комиссии, которая расследовала зверства гитлеровцев. Ленинград был истерзан блокадой, Детское Село сожжено... Горе и гнев Толстого были беспредельны. Он говорил о страшных потерях, понесенных нашей страной, говорил о грядущей победе, о справедливом возмездии врагу. Толстой сам нес кару фашизму своими статьями, ко-

которые печатали тогда газеты. Статьи эти поднимали людей на подвиг, клеймили фашизм.

В Ленинграде, только что освобожденном от блокады, было голодно и холодно. Помню, нас поселили в гостиницу «Астория». Однажды кто-то принес нам грудку маленькой зеленого цвета рыбы. Из нее состряпали котлеты. Трапеза эта была достаточно опасной, но всем очень хотелось есть. Сомнения разрешил Толстой. Он достал где-то бутылку вина и заверил всех, что с этим напитком можно проглотить хоть сырого крокодила. Мы, смеясь, принялись за зеленые котлеты. Толстой хохотал громче всех. Но тут вдруг вспомнил, что в соседнем номере живет митрополит Крутицкий — член той же комиссии, что и Алексей Николаевич. Он мгновенно устыдился своей приверженности «суете земной» и притих. Но ненадолго, ибо радость жизни всегда переполняла его...

За полгода до смерти Алексея Николаевича мы одновременно провели два месяца в подмосковном санатории «Сосны». Толстой находился там вместе с женой, работал и лечился. Болезнь подступала к нему все настойчивей. Он отшучивался от нее, сказал мне однажды: «Смотри, Галя, мне стала мала шляпа. Голова выросла, — наверное, поумнел...»

Ему надо было пить сушеницу, настоящую на русском масле и водке. Он заявил, что один эту гадость пить не будет, что я обязана составить ему компанию. Два раза в день мы вместе принимали по ложке лекарства...

Во время прогулок или вечерами в гостиной перед горящим камином Толстой рассказывал... Иногда это были какие-то маленькие смешные истории, внезапно мелькнувшая мысль. То вспоминал свои детские годы, то — как писал «Детство Никиты». Пожалуй, интересней я никогда ничего не слыхала. Он говорил образно, неожиданно, пленив воображение, но всегда просто и естественно.

Так он думал, так говорил, так и писал. Когда я читала его книги, мне всегда казалось, что автор, конечно, сам видел этих людей и события. Он жил в их домах, участвовал с ними в сражениях, празднествах, шел рядом с Петром по будущему Петербургу... Быть может, он «жил» в душе своих героев? Иначе как, каким образом так глубоко проникал он в самые сокровенные тайны души человеческой, знал все ее горести и радости?..

И вот наступил день нашей последней встречи. Я не думала, что она последняя. Алексей Николаевич был весел и шутлив, как прежде... Мы приехали к Толстому в Барвиху вместе с его старинным другом Николаем Николаевичем Качаловым. Поднялись по деревянной лестнице на небольшую галерею, куда выходили комнаты. Дверь в первую из них была раскрыта, и мы увидели Толстого, сидящего в большом кресле... Я услышала громкий спокойный голос, который почти буквально повторил фразу, сказанную мне столько лет назад, когда я впервые выступала в Большом театре:

— Галя, ты не бойся! Не бойся, это ерунда, все пройдет...

Он долго не отпускал нас. Когда мы уходили, все шутил над своей болезнью, словно хотел отпугнуть неизбежное... И все просил поскорее приехать еще...

Больше мы не виделись. Алексей Николаевич умер спустя два месяца.

Годы не властны над памятью. Я помню как сейчас его легкую, стремительную походку, его голос, его лицо. И знаю, что в Толстом сочеталось самое великое искусство человека — жить, творить, нести людям счастье.